



Леонид КУРАВЛЕВ

Цены кусаются

Цены подскочили! Точно им в худое место сидалища скипидаром плеснули.

И теперь, покупая колбасу, испытываешь такое чувство, будто тебя насилюют. Нервничаешь. Ясно и то, что тебя крепко за дурака держат. Приходится обижаться, потому как жалко переплачивать. А что это так, к сожалению, нет поводов усомниться.

Ловят же нашего брата на самом что ни на есть жалком пустяке. На том, что не купить ту же самую колбасу — невозможно. Ведь желудок, — этот неугомонный труженик, крепко держащий нас в позорном рабстве, — в работе круглосуточно даже у безработного. (Прости, Господи, за неуклюжесть слога.) Вот и берешь ее, назойливую, чтоб свой живот поддержать, а через него — интерес. Интерес к тому, без чего не мыслишь себе содержание природы, к чему душевными движениями прикипел и что просто любишь, в конце концов.

Ну, например, футбол! О, очень люблю я эту игру наблюдать. Вот где, скажу я вам, можно по-настоящему расслабиться и подзабыться, пошуметь до одури, с насилием над голосовыми связками. Ведь дома то не побеснуешься: потолок опасен низки. И так, без криков, норовят тебя сплющить.

Или, скажем, недурно на женские ножки фифочки поглазеть. Без свидетельницы жены.

Также приятно свежим воздухом подышать. В командировке. У моря. Опять-таки без на ком женился.

А кружечку холодного пивца пропустить? Под янтарного от жира лежача с друзьями-сотоварищами? а?... Вот и я о том же!

Да мало ли что еще хорошего придумано с тех пор, как люди памятью обзавелись!

Ну, конечно, не забывается (а забудешь — напомнят), что в конце концов любой из нас — член общества. Сызмалетства тесно охвачен патриотизмом, в силу чего государство непременно ждет от каждого из нас выгодных для себя поблажек, требуя сознательности. Словом, хочешь-не хочешь, а действуй во благо и всем своим житием, по мере сил и возможностей, укрепляй его могущество. Хотя бы подвигами скромными. Лучше — нескромными, славе любезными, чтоб на виду у рукоплещущей тебе толпы.

То есть жуй на здоровье колбасу! Жуй ту самую колбасу, цены на которую подскочили. Даже на ту, вроде бы дешевую, которую кошке купил. А потом, хорошенько подумав, сам улетаешь. В порядке экономии семейного бюджета. Так что, сами видите, приходится выкручиваться. Не без этого.

А вчера, по своей обычной обязанности доставлять в дом пищу, я зашел в магазин. Наш, по соседству. "Пища богов" называется. А что, скажу к слову, по части непродовольственной — это уж моя дражайшая половина. То есть по части там колготок, туфелек, помад-кремов, трусиков-лифчиков, сумочек да брошек — словом, всякой интимной дребедени. Вот это она. Кстат, и на меня — тоже. И пусть. И в этом вопросе стяжательства мы строго придерживаемся принципа разделения труда...

Итак, вхожу в магазин. Волнуюсь страшно, зная, что за последние дни цены, по устному доносу моего соседа, "встали на дыбы". Вошел я это в магазин и, стало быть, подкрадываюсь к витрине. Полоснул глазами по ценникам — и чуть было с сознанием не растался! Закрыв глаза, успокоился, а сам думаю:

"Бежать отсель надобно, пока язва не открылась".

Поднял веки — цены те же самые. Как на творения Айвазовского. Но все ж солдатом на часах — стою! И оторвать глаз от витрины нет у меня никаких сил. Там, за хрустальным саркофагом, — сумасшедшее изобилие жратвы. Со всего света.

И даже из Подмоскovie! И есть, скажу, вещи, необыкновенно поражающие воображение. Например, масло "Вологодское" из Финляндии, сыр "Российский" из Новой Зеландии. Или уж совсем невероятное — щавель из... Коста-Рики!

Тут, вижу, подошла продавщица, встает за витриной напротив моей персоны и в улыбке выбрасывает в два ряда алмазной крепости зубы: улыбка — сама любезность. А продавщица эта, конечно, мне знакомая, Викторией зовут, — в магазине она давняя, кажется, с самой презентации при его открытии после ремонта.

— Что угодно? — говорит Виктория, — и тут же, спохватившись, себя поправляет, и очень вежливо: — Что вашей душе угодно?

Эти ее вздорные слова меня прямо-таки непосредственно бесят. Глядя на нее в упор, еле сдерживая раздражение, думаю: "А с каких это пор колбаса — для души?" И все ж вслух, не сдержавшись, рявкнул:

— Не для души, а для желудка!!

И, выпустив пары гнева, немедленно разворачиваюсь к ней спиной и направляюсь к выходу. Но, как бы споткнувшись, на миг задерживаюсь на месте: пусть, думаю, "сама любезность" воображает, что я ее масляным глазком показал спину, а не то, что располагается несколько ниже.

А далее — почти бегом. И только это я, значит, как ошпаренный, подлетел к выходу, как мне навстречу — Марь Алексевна, учительница. И не просто учительница, а первая учительница! У которой я еще в начальных классах лямку образованности тянул. Кстат, я входил в стайку тех, кто учился по-классику: "понемногу чему-нибудь и как-нибудь". Но как бы то ни было, Марь Алексевну лично я уважал до обожания. Уважал за терпение, снисходительность к моим, мягко говоря, невыдающимся способностям. Она все, бывало, мне тройки натягивала и тем самым, умница, отводила отцовскую цепкую руку от моих ушей.

Ну, я, конечно:

— Здравсьте, Марь Алексевна!
— Ой! — воскликнула она душевно, с ходу меня узнавая. — Витенька Пилюлькин! Рада узреть (да, так и сказала: "узреть"), — а сама ножками мимо меня семенит и напрямик к витрине. Тут уж я, естественно, меняю курс — увязываюсь за Марь Алексевну.

"Как-то, — думаю на ходу, — неудобно теперь сматывать удочки... узнала вот, в букварь рылом тыкала..."

Подойдя к витрине, Марь Алексевна перед ней застревает. И я рядом. На нее сбоку-сверху смотрю, а у самого в горле слезливый ком набухает. Она же с умилением уставилась на выставочный набор кревогодия и говорит голосом, в котором счастье:

— Вот, Витенька, сюда хожу. Ежедневно. Ноги сами несут. Как в свое время в Третьяковку. Я ведь в Третьяковку-то, как на свидание по молодости бегала. Каждую картиночку глазками обложивала бесчисленно... А теперь вот сюда. За красотой, — вздохнула. — А изобилие-то какое, заметь... А сама вожделенно так шарит глазками по продуктам питания — любитесь и восхищается.

Конечно, эта трогательная сцена проникает в самую глубину моей отзывчивой души и я буквально не выдерживаю — срываюсь. Бегу от витрины, буркнув ей "минуточку", и — в кондитерский отдел.

В отделе покупаю шоколадку и,

возвратившись, торжественно ее вручаю Марь Алексевне.

— Вот, — говорю, — Марь Алексевна, вот вам от меня шоколадка. "Сказки Пушкина".

Моя учительница, слава Богу, попустому не кобенится и без панической взволнованности благодарно принимает угощение.

— Спасибо, — говорит, — Пилюлькин, жутко трогательно. — И смотрит на меня внимательно до въедливости. Вроде к допросу готовится. Я же, в свою очередь, смущаюсь и даже, признаться, несколько пугаюсь. Взгляд у нее хитроватый, улыбочка кисло-сладкая, смахивает на придурковатую; и, бросив сдвинутую головку, как курочка, на правый бочок, Марь Алексевна говорит:

— А ведь я знаю, Пилюлькин, знаю, что в классе именно ты прозвал меня Магиканшей... так ведь? было?

Та-ак... вот это и есть расчудесный сюрприз! Не ожидал. Через столько-то лет вспомнить?... Надо же.

И стою я перед ней, как вбитая в землю свая. Глазами хлопаю. И внутри меня ломает, то есть мучаюсь капитально. Черт меня, думаю, дернул напроситься на узнавание с последующей церемонией преподношения гостинца?!

— А все потому ко мне такое прозвище прилепил, что тогда я вам казалась старухой.

Я бормочу:

— И впрямь, Марь Алексевна; так. — Ведь в других-то классах учительницы были вам на зависть молоденькими, с осиной талией, а у меня уж и тогда пузцо-то наружу выкатывалось.

Я опять:

— И впрямь, Марь Алексевна; так. И вдруг — как бритвой по мордасям!

— А теперь, Пилюлькин, скажи, — и пристально так, как пролетарский вождь, шурится: — очень я постарела? очень?

Ну, тут уж я невыразимо как опешил, из челюстей сила ушла, отчего нижняя безвольная мокрой тряпкой опала книзу. А еще я стал как-то нелепо хлопать себя руками по бокам, — и почувствовал, что сейчас насекомым взмою к дворцовому потолку магазина, там зависну и не смогу вновь коснуться ногами тверди. А мозг мой залихорадило-и:

— Да вы что, Марь Алексевна!! — вскричал я радостно, разрождаюсь осеннейшей меня спасительной мыслью, — и сразу же стал уgomонять руки — их я не без хлопотливых усилий засунул в карманы брюк. — Как же так, Марь Алексевна?! Вы, — говорю, — на том же самом состоянии лица что в мою бытность третьеклассной так и заморозились! Уверяю вас!.. А вот я, как видите (тут уж я не пожалел одного искренне-печального вздоха), сдавать стал: тело как-то нехорошо раздрыбло, да и лицом, знаю, непривлекательно раскис. И вообще...

Помолчала Марь Алексевна, подумала:

— Ну, хорошо, Пилюлькин. — И перестала отдавать предпочтение правому цупленькому плечу — поставила головку прямо, — лицом же сделалась строга и значительна, как шестие черной кошки через дорогу. — Так и порешим, Пилюлькин. Спасибо. И теперь, Пилюлькин, ступай к жене. Поди, уж заждалась тебя. А я останусь здесь. Посмотрю на всю эту красоту, которая спасет мир.

Господи, как гора с плеч!

И я спешу любезно попрощаться с Марь Алексевной.

— Иди-иди, — нетерпеливо, уже не

глядя на меня, отплываюется от меня старуха.

И я следую ее доброму совету. Я отправляюсь домой к жене. Тем более, что кроме как к жене, идти мне было просто некуда.

С каждым шагом, приближающим меня к дому, я спелну. Контуров мира растушевываются, теряют четкость. Это оттого, что я, потакая привычке, легко предаюсь игре воображения.

В воображении, как на экране, рисуется до мучительнейшей боли знакомая картина. От нее я ежедневно ухожу в слесарные мастерские автобазы и, старательно завершив свои труды, возвращаюсь к прекрасной с ней копиям.

Вхожу.

И вот то самое: моя закраса сидит с нижними лапками на тахте и самозабвенно прожигает свою драгоценную жизнь перед телевизором. (В ногах жены уютно покоится пушистый комочек кошки Муськи). К ее худенькому телу ластится шелковый халатик с грациозными павлинами по нежно-голубому. Он, халатик, любит свою хозяйку, — и с какой-то трогательной робостью, благоговейно исполняя тонко угадываемый им кокетливый каприз жены, не смеет прикрыть ее длинных ног, выставляя всю их прелесть напоказ: его последняя волна застывает как раз на пороге сокровенного. При виде жены в ее любимом халатике я ритуально вздрагиваю и с панической поспешностью перевожу взгляд выше — укладывая его на ее милую головку. Головка подпирается в висок кулачком левой руки, переломившейся в локотке, который, в свою очередь, опирается на подлокотник тахты. Из-за такого наклонного положения ее головки вся ее правая сторона вместе с глазом прикрыта благоухающей дивными ароматами длинной занавесью прямых пепельно-шелковых волос.

"Это конец!" — на сей раз говорю я себе, и яростно накапливаю в своем бедном сердце мужество покинуть это мертвящее душу обиталище сейчас же и навсегда.

И только это я решаюсь сбегать куда глаза глядят, как слышу:

— Пуся, ты принес нам, своей Сюсе и кошечке Мусе, что-нибудь вкусненькое? — А сама глаз при этом от экрана телевизора по-прежнему не отсаскивает, — поглощает им свистопляску красок каких-то там костюмированных событий.

Тогда я, больше ненавидя, чем любя, запальчиво и довольно грубо кричу ей:

— Сюся, я весь искусан! Искусан я! А посему мне не до разносолов, чтоб тебе еще и сытно жить!

Конечно, она тут же страшно пугается и вскрикивает:

— Что такое? что? — и дальше от нервов пошла пятнами, и пытается меня. — Как же так, Пуся? тебе, Пуся, больно? а кровь хлещет? я ее, противную, наглядно совсем не выношу! — А сама все равно глаз продолжает вкручивать в телевизор, ни на миг от него не отвлекаясь.

"Нет, — думаю, — дикость какая-то. Прямо незаурядное, могильное равнодушие!"

— Ты, Пуся, — говорит, — иди про эту трагедию заяви в милицию... Или лучше сейчас же походи к врачу. Он тебе раны заштопает и уколы от собак пропишет... Ну, иди же, Пуся, иди поскорее, а то из тебя вся кровь выхлещется, да к тому же ты мне мешаешь за поворотами сюжетов наблюдать.

Тогда я ей кричу:

— Сюся, я покусан не собаками, а

ценами. Понимаешь? Цены кусаются. Це-ны!

Ничего не соображая и продолжая не отлеплять глаз от телевизора, она говорит:

— Что? что ты сказал?

— Я говорю: в магазине цены кусаются. Жратва дорогая. А денег на дне кошелька!

— Ах, во-он оно что, — поняв, наконец, что к чему, морщась, протянула она свое разочарование в телевизор. — Я-то думала; только понапрасну меня беспокойством встревожил; как-то чудно даже... Никогда, слышишь, Пуся? никогда не забывай: у меня тоже живые нервы в наличии имеются. — И вижу, совершенно не радуется, что я живым остаюсь.

Тут уж я буквально воспламеняюсь сильным чувством негодования. Внутри меня все клокочет, в голову туманом заползает помутнение, а от удущья я просто обязан немедленно схватить инфарктную гибель. И худо мне так, что нет мочи!

И я опять срываюсь, как в магазине за шоколадкой для учительницы. Скачу прыжками и в мгновение ока исчезаю за дверью, с нашего пятого этажа опометомь мчусь по лестницам, а, оказавшись на улице, птицей лечу в ненавистный "Пища богов".

Прибежал, запыхавшись в усмерть. Пришлось у входа задержаться — отдышаться и перевести дух. Постоял, угомонил дыхание до нормального, — и только после этого чинно, чтоб не расплескать свое высокомерное достоинство, вошел в священные пределы магазина.

Учительницы Марь Алексевны здесь уже не видеть, — значит, экскурсию по магазину она, слава Богу, завершила.

Подождал к витрине — к той самой, за которой по-прежнему скалится наглые цены. И та же продавщица Виктория, что вновь в роскошной улыбке раздвигает рот, до отказа забитый алмазами зубов. Стоит — плывет за прилавком наготове с видом удачливой охотницы.

— Что вашей душе угодно? — На ее лице живописуется ласково-кокетливое, заговорческое выражение. Вот-вот подмигнет.

"Разворачивает интригу", — мелькает у меня в голове. Но на сей раз я вежлив, в подчеркнутой старательностью показываю свою воспитанность, как будто я интересным случаем заброшен, к примеру, во Французское посольство. Да к тому же вдруг почему-то придумал показать ей, неразумной, широту своей души. "Эх! раз уж вы так, — думаю, — то мы — эдак..."

— Будьте так добры, колбаски палочку сырокопченной, — и выговорить бы! — "Браун-швейгской"... затем отхватите триста граммов копченого язычка... четыреста граммов окорока... пожалуйста, с мармориными прожилками жирности, но в меру... ломтик осетрины горячего копчения — на полкило... баночку хрена к ней. Имеется?

— Безусловно.

— Кусочек семги. Малосольная?

— Безусловно.

— Сыру пахучего "Рокфор" — две-сти... баночку красной икры... и-и-и... баночку испанских маслин.

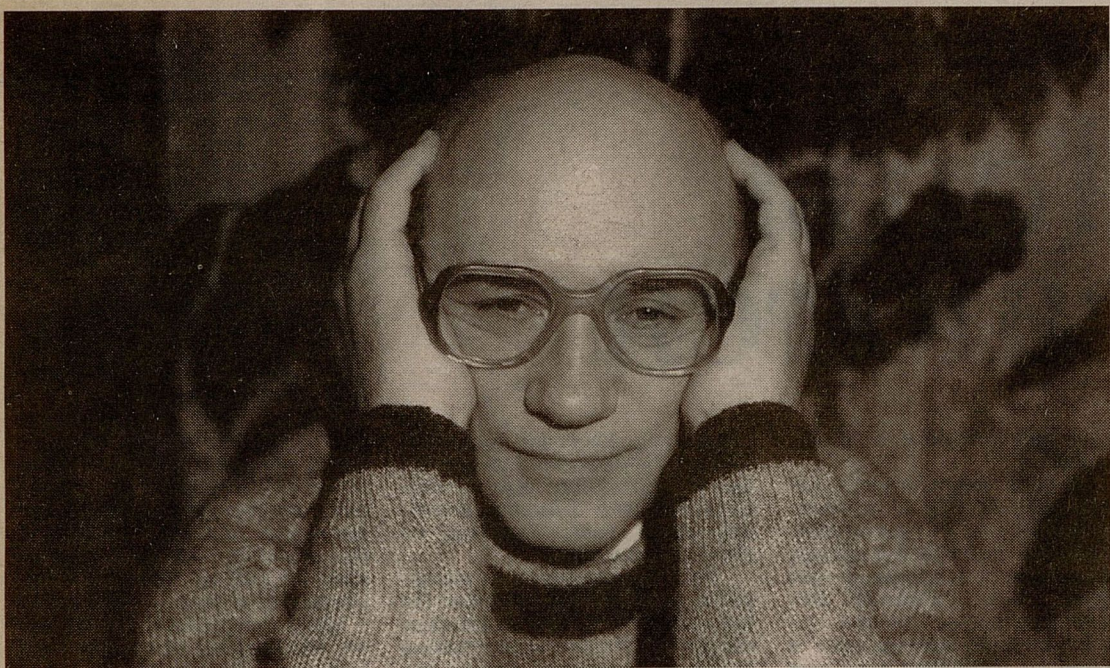
— С косточкой?

— Что?

— Маслины — с косточкой? — И за ее пышно взбитой грудью на низах пророкотал смехок, который имел явное намерение отвлечь меня от серости будней.

— С косточкой, с косточкой... и две бутылки шампанского! — поспешил сказать я тоном сурового, неподлежащего обжалованию приго-

Экран 4 сцен



«Экран и сцена» с удовольствием представляет известного актера Леонида Куравлева в новом качестве - литератора. Правда, это не дебют, три года назад первый рассказ Куравлева был напечатан на страницах «Крокодила». И как он признался, внимательно вычитывая в нашей редакции набор своего текста, на подходе еще два-три.

Пока нет новых ролей и в перерывах между телепередачами о книжных новинках, которые он ведет, актер создает свою новую реальность. Вообразите на миг, что изображаемый им персонаж - на экране. Вполне подходящая для Леонида Куравлева роль.

вора, что, я думаю, должно было послужить достойным ответом на ее беспардонную развязность.

— Все? — улыбнулась и ослепительно брызнула в меня солнечными зайчиками от зубов: свою вечернюю жизнь начала праздновать гигантская хрустальная люстра в центре высоченного потолка.

— Все, — сказал я скромно.

— Итак...

Пока продавщица подсчитывала общую сумму за приобретенную мною вкуснятину, я выгреб из кошелька всю наличность и стал ее пересчитывать; пересчитал вплоть до последней копейки.

Наконец, пробив чек, продавщица сунула его мне в руку. На чеке я увидел тройку уважающих себя цифр, которым как будто нетерпелось присоединить к себе, пропустив ее вперед, еще и четвертую-единицу. То есть денег не хватало! Не хватало семи рублей... плюс одна копейка.

Я пришел в ужас.

В глазах зарыбило. Цифры на чеке задергались. Первая, девятка, явно из заводил, пошла вприпрыжку, — и вот уже вся троица выламывается в какой-то бесноватой пляске.

Медленно, холодея до самых пят, я оторвал глаза от кривлявшихся цифр. Поднял их на продавщицу, — и встретил жгущее прямого взгляда-буравящий, с ехидной насмешкой, в обрамлении презрительного прищура.

«Вот, — думаю, — как измывательски хамит, плюет в святая святых — в мою душу, и мне сейчас, — думаю, — самое время полезть на рожон, чтоб ей, занозе, впредь было неповадно забивать нас, простых смертных, своими наглými гримасами».

И только это я приготовился возроптать, ее, бесстыжую, осадить — мол, не в деньгах счастье и я сейчас же дополню нехватку, вот только домой за денежкой добавкой мигом туда-сюда сбегая (Денег в доме, правда, не было, но, конечно, занял бы у соседа), как вдруг она, видите ли, смилилась. Лицо ее поползло в широкой улыбке, от этого уши ее расшевелились, а в рот она манерно всосала свои пухлые губы, отчего на щеках образовались чуть проявившиеся воронки, а глаза растеклись сверкающими лужицами, — и в каждом резвился по юркому, лукавому чертику.

Тут я почувствовал, как из моего сердца, делая мне ручкой, удаляется то, чем я дорожил душе всего на свете, — мое неприступное достоинство! На это расставание я страдалчески, как от боли, поморщился.

Экран и сцена —

...И объяла меня печаль беспредельная...

— Как-нибудь потом занесете, не переживайте, — на большом удалении слышу я голос продавщицы, обретший ласковую снисходительность, и перед моей физиономией висит пакет, в котором царская снедь. Его держит ее белая рука, — и мы обмениваемся тем, что составляет суть любви: покупкой. Я забираю приобретение в обмен на деньги, смущенно поданные ей в потном кулаке.

Подхваченный стыдом, я зашел во свояси. А у выхода из магазина в спину мне с коварством безжалостной мегеры когтисто вцепляется свора мстительно завизжавших слов:

— Будьте осторожны! Упадете — хребет переломите!!

И только мой мозг овладел смыслом сего предостережения, как оно незамедлительно оказалось пророческим: под звуки торжествующе глумливого хохота продавщицы я поскользнулся. Какие-то мгновения, показавшиеся мне бесконечными, стремительно разбрызгивая во все стороны коленности, — при этом, как ни странно, не забывав проявлять усиленную заботу о пакете, в котором жалобно звенели хлеставшие друг друга бутылки с шампанским, — я, отделившись, наконец, невероятные, явившиеся верхом бессмыслицы дикие телодвижения, все-таки на полу не распластался.

Устоял!!!

А устоявши, выхлестнулся с проклятого места на улицу и, пытая и негодую на судьбу, оказался в объятиях только что рухнувшей на мир ночи...

Пылали светом окна домов. Вдоль улиц горели гирлянды желтых фонарей.

Свирило сверкали глазами невесты куда стремившиеся машины.

А из-под земли восходила полная луна. В эту минуту она зависла над вольно раскинувшейся равниной, подступавшей к расположенному на своих горбатых холмах городу. По равнине змеилась река, отсюда глядевшаяся недвижимой, — и лишь по одной излучине, в которую луна проливая свое кровавое отражение, животрепещущее зыбью, было видно, что река все же живет своим обильно-напористым течением, торопившимся в дальние земли, где лучше и веселее, потому что там нет нас.

Сейчас ликом своим луна была огромна и, может быть, потому казалась глуповатой и назойливой. И все ж, замороженный ее колдовскими чарами, испускавшими обезволивающие и обворожитель-

нейшие тайны, я долго стоял, отмечая про себя ее неспешный поход к своей невидимой вершине. И подумал: «Как же тебя, дуреха, распыляет от самомнения! А уйдешь себе в высь, пообеднеешь в скромности... и усохнешь, представившись совсем привычной, почти никчемной, как пустяковый довесок к гибнущей в страданиях жизни. И много ли тогда найдется охотников задирать вверх голову, ломая себе шею?»

И звезды вот... брошенные щедрой рукой Великого Пахара, рассыпались они по неоглядным просторам небес и неустанно приветливые разговоры свои разговаривают...

Власть насладившись внезапными чудесами, я вдруг исподволь и настоятельно побуждаемый желанием пройтись по улицам (что не делал, кажется, целую вечность), решил этому своему желанию не противиться, чему возрадовался как ребенок.

И тогда прогулку я сразу же наметил, пройдя вкруговую, закончить у дальнего сейчас от меня конца нашего дома, поленом лежащего (дом был без балконов и лифтов, пятиэтажка) в сотне метров от магазина — там, где стоит деревянная, наивного вида беседка... Между прочим, место это весьма примечательное, стоящее того, чтобы его отметить. А примечательно оно было тем, что тихими погожими вечерами, с ранней весны до поздней осени, под ее крышей на свои вече сходилась древнейшая и мудрая часть населения нашей «хрущевки».

На этих вече с пристрастием неопределимым обсуждалась всякая всячина, но в основном — жизни и замечательные приключения людей знаменитых, талантами отмеченных, на виду у всего мира выставившихся. Например, его членами остроядовитыми язычками без устали терзались моральный облик Верки Куколки, которая на нашей и прилегающих к ней улицах пользовалась заслуженной славой прелестницы, страдавшей от прямо-таки маниакальной слабости своего лобка, — что, впрочем, оплачивалось поклонниками этого ее вдохновенного увлечения добротной монетой. Кстати, не обошло вече своим вниманием и ее иноземному товарку Молику Левински; как известно, ее, породившую громкий скандал на почве падения в безнравственную бездну и тем самым чуть — «вот сучка!» (цитирую!) — не перекаившую политический расклад сил как в самих Соединенных Штатах, так и далеко за их пределами, старухи своими сплетнями да пересудами за-

мызгали так, что не только живого — малого кусочка мертвого места на ней не оставили! Ну, а наши старички при обсуждении этой подручной дьявола дивы ограничивались лишь двусмысленным покашливанием в свои сухие кулачки да шаловливыми подмигиваниями друг другу, — но, разумеется, так, чтобы прекрасный пол — не дай Бог! — этого не приметил.

Или — судачили об одичавшем в одиночестве Лехе Лекине. Жил этот субъект в третьем подъезде, а знаменит он был тем, что страсть как любил полакомиться соленьями огурчиками. К несчастью, почти бесперебойное пристрастие к этому народному фрукту оборачивалось для Лехи, безвольной души, жуткой изжогой. Врачевал же он этот свой недуг способом опять-таки чисто народным: посредством обильных возлияний. И, возможно, не совсем удачный выбор лечения приводил Леху к разнузданнейшим буйствам, отчего обитатели нашего дома страдали катастрофическим понижением слуха и страхами за свои имущества и жизни.

Ну и, наконец, не гнушалось вече высокой политики, вникая в самые разнообразные события в мире. Скажем, немало балакало о ликвидации института наследных пэров в Великобритании, о ратных делах военной кампании в Чечне, о лидерах думских фракций... А вот, отмечу, среди последних ими особенно высвечивался их любимчик Генка Зюганов. Ему с особым тщанием драили косточки за несусветное, вконец занефталиненное пустозвонство, набившее им оскмину еще со времен их смиренной молодости и кроткой зрелости, когда одной шестой частью суши правили суровые, напроочь лишенные понимания простых вещей и юмора его соратники-предтечи. Хотя, по правде говоря, губя единогласие, с горячностью патетической неуступчивости, брызжа слюною, нет-нет да и заголосят в защиту непримиримого борца за насущные нужды трудового народа особенно бойкие на язык. Впрочем, это и понятно, и неизбежно: ведь сама защита своего мнения на любом народном сборище (даже кухонном) нередко сопровождается взаимными упреками, клятвами вечно хранить обидчивое молчание по отношению к своим идейным недругам и даже, как в настоящих парламентах, потасовками. И эта заинтересованность членов высокого собрания, в общем-то, согласитесь, создавала здоровую и пылкую атмосферу спора и не она ли свидетельствует о широком разбросе мнений и накале страстей?! Словом, вот такое славное место, эта беседка, о которой я беспечно соблазнился рассказать, конечно же, понимая, что сказ о ней к данному сюжету не имеет никакого отношения, за что, мой любезный читатель, нижайше прошу меня простить...

Итак, как уже было сказано, решил я прогуляться, пуститься в скромное, всего лишь на полчаса, путешествие, цинично пренебрегая урызжениями совести, некая-то напомнившая мне о том, что дома меня ожидает истязаемое голодом жена и бедное животное.

«Ничего, — сказал я себе, — полчаса — не деньги», — и, развернувшись спиной к дому, зашагал — неторопливо, в развалочку, с нарочитой ленцой.

С первых же шагов я вливаюсь в густую сутолоку толпы.

Идут встречные. Эти прямо-таки куда-то ломаются. На своих лицах они тащат странную мину: помесь отчаяния с капризом, словно стремятся на раздачу чего-то бесплатного, рискуя опоздать. Из-за моей спины тоже выносятся прохожие, мельтеша перед глазами подошвами самой разнообразной обуви. Об этих думается, как о только что сбежавших из сумасшедшего дома, к тому ж подозревающих, что по их следу пустились злые собаки. Некоторые нервно оглядываются: не окликнул ли кто их? В глазах читаются беспокойство и «как бы не напороться на неприятности».

И во всей этой встревоженно роящейся толпе я иду, не подталки-

ваемый никакой озабоченностью, душой вкушая что-то вроде покойного равнодушия. За что тут же и расплачиваюсь. Встречные наотмашь хлещут меня взглядами, в которых кипит или презрение, или ненависть, реже — зависть. А обгонявшие оглядываются прежде всего на меня, недоуменно тараща, видимо, убежденные, что именно я их окликнул. Какая-то девушка резко крутанула головой в мою сторону, затем, вроде извинившись смущенной улыбкой, торопливо отвернулась, прибавив шаг.

А я, наоборот, шаг замедлил еще, и вскоре с приятностью почувствовал, как с моих нервов комьями отваливается нажитая долгим временем суеты и хлопот усталость.

... А сердце уже заходится в радости, душа заплескалась в море доброжелательства, в мыслях же закопошились светлые надежды. Голова идет кругом, и я начинаю верить, что весь их ворох превратится — и это время не за горами — в сплошную счастливую быль! Ведь бывает — правда? — что иной раз, без видимых на то причин, душа возвышается, курится, как кипиток паром, мечтами...

Ну, да ладно. Это я так. Как говорится, от нечего делать-гуляя.

А между тем под мелодичное сопровождение нежно целующихся в пакете бутылки с шампанским, иду я по одной улице, сворачивая на другую, вышагиваю по переулкам и не замечаю, как угнул в ловушку короткого, как уродливый обрубок руки, тупика...

Странно, что, как показалось, только малое время, в очередной раз, на ходу, я залюбовался веселой игрой звезд, а когда зенки-то от них оторвал, обнаружил перед собою преградивший мне путь... забор.

Забор был высок и плотен, краской не выкрашен, видимо, из соображений практической скудости. Это обстоятельство, наверняка, явилось дополнительным побуждением для уличных Рембрандтов и Рафаэлей покрыть обширные его полотна искрометными образцами народного творчества, что им и было предоставлено с щедрым бескорыстием этого молчаливого покровителя искусств.

В основном эти образцы являли собою рисунки предметов, о которых говорить вслух закономерно считается неприличным. Особенно при детях. Широко был представлен и портретный жанр в виде рыл и рожц обоого пола, нередко с указанием имен и прозвищ их владельцев. Немало было мест с отдельными словами и изречениями таких же, что и рисунки, пыльных и бойких свойств. И от всей этой поднебесной выставки веяло прямо-таки ненасытной заботой о продолжении рода человеческого.

«Какая мерзость!» — устыдился я своего нечаянного любопытства и, отвернувшись от гнусных каракуль... напоролся на двух типов.

«Приехали», — сказал я себе, и под ложечкой засосало.

Типы баранами вперились в мою особу; я стал разглядывать типов. И молчаливо вся наша троица приступила к добыче золота...

Было видно, что они наглободили меня давным-давно, а сейчас, исполненные умиротворенного терпения, спокойно ждали, когда я удовлетворю свое любопытство к шедеврам заборного (или подзаборного) вдохновения.

Одежды типы были неряшливо, безобразно. Никаких сомнений — их спрос на предметы первой необходимости удовлетворялся широким предложением городских свалок.

(Окончание на стр.16)



(Окончание.
Начало на стр.14-15)

Леонид КУРАВЛЕВ

Цены кусаются

Один был на голову выше другого (в нем я безошибочно угадал главаря шайки), а громоздившейся на его узкой, словно дыня торчком, голове нечто, что когда-то, видимо, было широкополой шляпой, из-под которой беспорядочно торчали седые космы салых волос, еще более прибавляло хозяину росту. И без того узкие плечи длинного теснил в грязных разводах куций пиджачишко, рукава которого спускались всего лишь чуть ниже локтей; наружу из рукавов рвались руки—очень сухие, будто обглоданные могильным тлением, и восковой прозрачности в свете лунного сияния. Штаны были под стать пиджачку — такие же куцые; неохваченные носками голые палки ног проваливались в недра колосальных величин черных ботинок, ранее, наверняка, служивших дорожному рабочему: укладывая горячий асфальт, он, должно быть, прошел в них не один десяток верст того, что на Руси именуется дорогами.

Высокий взял слово:

— Молодой человек, — голос его был хрипл, — насколько мы в вас как в личность сумели проникнуть, теперешний настрой вашей трепетной души превратил вас в существо, парящее в эфирах, куда нам, грешным, путь заказан. Идя за вами по пятам, нам было забавно наблюдать, как вы пялили ваши очи на усеянный небесными светляками свод. Надо полагать, ваши мучительнейшие усилия были устремлены на поиски той единственной, которая поставила бы крест на вашем жалком влечении по земной юдоли. Вы с такой верой, надеждой и любовью шарили своими моргалками по поэтической клоаке, что мы безоговорочно уверовали в то, что ваша желанная, сорвавшись с засиженного ею наместа, вот-вот ринется-таки на свидание с вами и, по нашему разумению, не преминет снести ваш безмозглый качан с плеч долой. Ну, а за сим все встало бы на свои места: вы, срочно переодевшись в белые одежды, отправляетесь к праотцам в вечную командировку обжираться райскими яблочками, а мы, в свою очередь, забираем ваш уже бесхозный пакет с по крайней мере двумя возжеленными бутылками и, сами понимаем, устраиваем себе пышный загул, скорбно помянув вашу удалившуюся от нас, нечестивцев, святую душу!

Тут хрипчатый надолго взорвался кашлем, завершив его в конце концов чем-то вроде рыка, после чего густо сплюнул.

"Эк, его златоуста, словами-то как тошнит, — подумал я. — Спившаяся творческая бестия, не иначе. Из писателей, должно быть. И сейчас явно под хорошим хмельком."

— Очень жаль, — продолжал хрипеть длинный, — что, чтобы потревожить покой своего благожелательного светила, вам, как нам думается, не хватило-то одного, ну, от силы двух, набегов на сверкающий пол. И вам для крепкого гостеприимного рукопожатия уже готовился протянуть свою ласковую длань сам Господь Бог!.. Но сей радости, увы, не суждено было свершиться: вас отвлекло недоразумение — то, что вы, мы уверены, неосознанно покусились на "сферу наших стратегических интересов", где, впрочем, обогатили себя, не сказать чтобы высоким, но все ж имеющим право быть искусством — искусством черни в духе наивного примитивизма... зма...

Слушая вполуха полупьяного краснбая, я лениво разглядывал

"владения" этих типов. Они действительно представляли собою тупик, длиною в три-четыре одноэтажных, уставившихся друг на друга ветхих и мертвых, обреченных на снос халуп. Как водится в таких случаях, их окна были заколочены полусгнившими досками или дырявой фанерой. Были и такие, что чернели страшными проемами пустот. Они зияли, как пасти удавов — выжидательно, с каким-то мрачно-сладоострастным призывом приглашая проникнуть в них всякого доверчивого, чтобы, поглотив, уже никогда не вернуть их к радостям белого света. Там и сям стояли корявые деревья, изломанные в подагрических муках...

— Кстати, вы не догадываетесь, что привлекло наше внимание к вашей романтической особе и заставило нас увязаться за вами?

Я смолчал.

— Правильно! Мы прилипли к вам, влекомые звоном бутылки. "Вече-е-рний звон..." — попытался пропеть хрипчатый — М-да... так вот, как только этот самый звончик надавил на наши чуткие барабанные перепонки, растленные наши души были сразу же повержены ниц от его восхитительной мелодичности, сравнимой разве что с волшебной красотой "Песни Сольвейг" маэстро Грига.

"Господи! — взмолился я, чувствуя, как к голове подступает горячая волна гнева, — этот пошляк

разворошил в месиво всю мою печенку!"

— Да! пора закругляться, — услышал мою мольбу истязатель. — Вы правы!.. Сергей Николаевич, пожалуйста, подойдите к нашему благодетелю и заберите у него ручную кладь... Смелее! Это только со стороны кажется, что она и намертво вцепившаяся в нее клешня господина дали друг другу клятву в вечной дружбе.

И только теперь, этот самый Сергей Николаевич, точно Пизанская башня, завалившийся набор от своего поделника заметно вправо, подал первые признаки жизни. Он, как бы разогреваясь, сначала произвел кое-какие шевеления в своем мешке, ибо висевший на нем, как на гвозде, пиджак, был не то что, как говорится, с чужого плеча, а, имея в виду необъятную его раздольность, с чужих плеч. То есть пиджак, при желании, мог бы принять в свои просторы шеренгу из нескольких таких же, как он, плюгавцев. Надо ли говорить, что зловонная хламида, как театральная занавес, ниспадала с его утлых плеч почти до самой земли. Так что брюки на коротышке были представлены узкой полоской на правой ноге, обутый в рваную сандалию; вторая штанина была заправлена на вид в довольно приличный женский сапожок на неожиданно высоким каблукче-шпильке.

Наконец, закончив разминку, Сергей Николаевич соизволил еще и подать голос. Как бы внимательнейшим образом всмотревшись в своего товарища, он пискляво проблеял:

— Аким Христофорыч, на вас заметно лица нет. Разве можно так бессовестно в клочья рвать свое сердце? — Тут коротышка глубоко вздохнул и, сморщив личико, показал, что вот-вот разрыдается. — Не бережете вы себя, Аким Христофорыч... Учтите: врачи разят свое возмутительнейшее неудовольствие вами... Во-первых, я прошу вас успокоиться, вторых, — так уж и быть! — разрешаю вам закурить; может быть, в последний раз.

"Этот тоже в себя плеснул. Но такому-то и воробышкой капли предостаточно..."

— Я потерял зажигалку, — хрипнул длинный.

— Зажигалка у вас в правом кармане пиджака.

— Да-а?! — удивился, округляя глаза, длинный и, запустив руку в карман, извлек из него предмет. Предметом оказался пистолет.

— Глядите-ка: не потерял... чудеса. — Он поднес пистолет к своему носу и задумчиво проговорил над ним: — А вот курить что-то не хочется. — И сунул шутовскую вещичку обратно в карман.

— Воля ваша, — с елейной подобострастностью чуть ли не пропел плюгавец и перевел взгляд

на мой пакет, на который ошетинилось — он потянул носом воздух — все его животное существо. Затем он сделал несколько шажков ко мне, из-за высокого каблука сапожка сильно припадая на правую ногу. Подойдя, застыл. Сглотнул слюну. А потому, как он очень серьезно, сверху вниз, протянул для принятия дани свой донельзя нелепый полупустой рукав, я понял, что плюгавец страдает манией величия.

И вдруг, чуть пригнувшись и резко выбросив вперед обутую в сандалию ногу, он неожиданно ловко выхватил глубоко спрятанной в рукаве пиджака рукою мое сокровище (как мне показалось, ни один мускул на моем лице не дрогнул) и тут же преспокойно перековылял к своему повелителю — тесно пристроился все к тому же его правому боку, при этом, очевидно, для равновесия, ногу в сандалиии ловкач поставил по-балетному на цыпочку.

Я невольно ухмыльнулся.

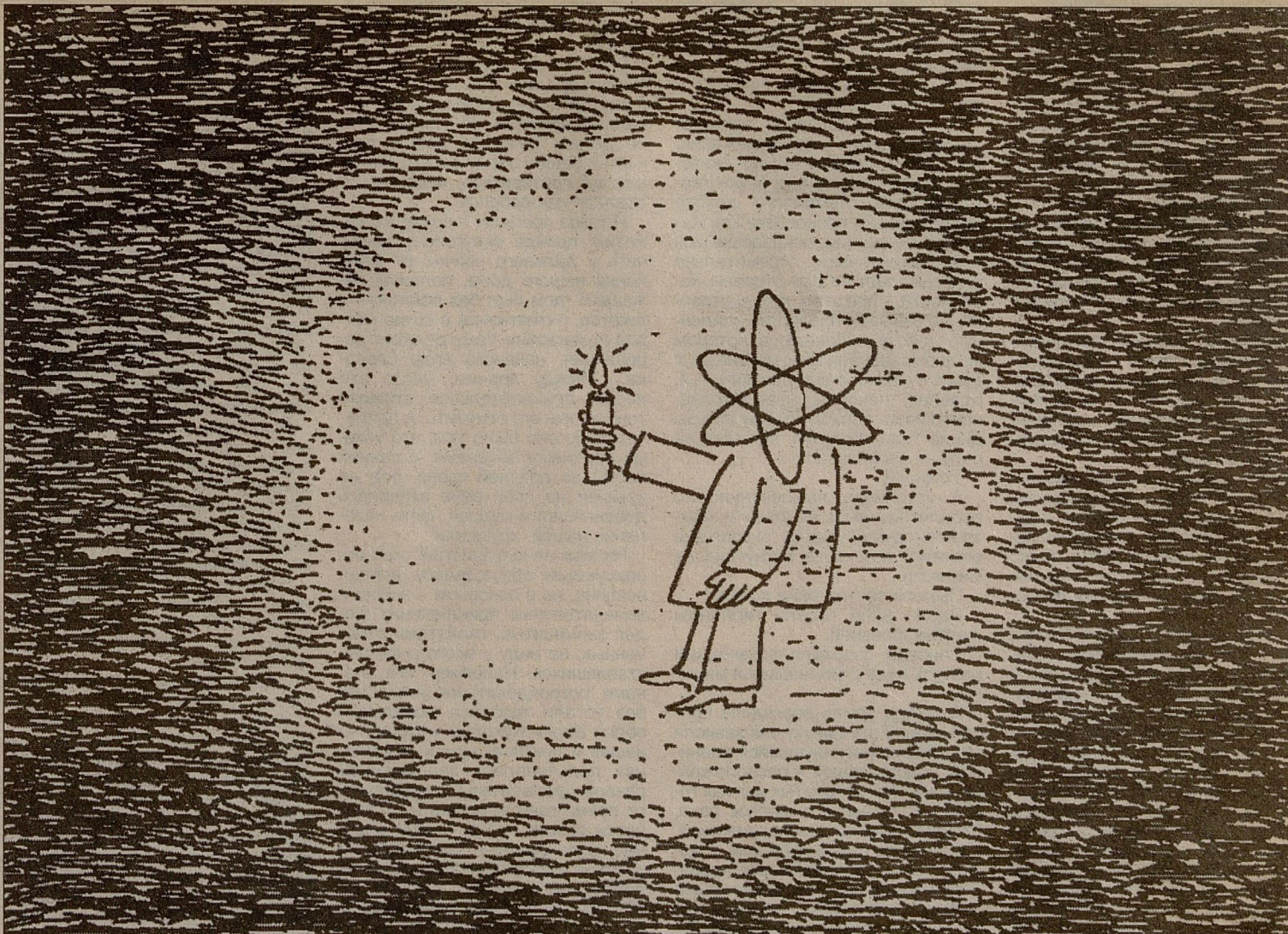
А повелитель, вскинув брови, с высокопарностью вступающего на трон короля, улыбнулся, снял шляпу и, в знак благодарности, обеими руками прижал ее к своей чахлой груди. Далее последовало закатывание глаз под благородной высоты лоб и, наконец, со слезою в больном горле, он прошипел: "Мерси-с".

— Ну, а теперь, — и в его мутных глазах блеснула угрожающая молния ненависти, — как говорится, скатертью дорога...

И мне ничего не оставалось, как налегке зашагать прочь, выходя из злополучного тупика.

Напоследок могу лишь добавить, что постепенно на звезды я перестал обращать внимание...

Вообще, они, звезды, — вещь, скажу, бесполезнейшая. Впрочем, вы и без меня это хорошо знаете.



Главный редактор А.А.АВДЕЕНКО

Газета сверстана в компьютерном центре "Экрана и сцены", тел. 229-70-65, e-mail: scrstage@mtu-net.ru.

Отпечатано в типографии ПО "Пресса-1", 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. "Правды", 24. Индекс 50182. Тип. № 16704

Адрес редакции: 103055, ГСП, Москва, М.Гнездиновский пер., 7. Факс: (095) 229-70-65. Телефон секретариата: 229-70-65.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. "Экран и сцена" выходит по четвергам. Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 25 сентября 1991 года. Регистрационный № 1144

Учредитель: журналистский коллектив. Цена свободная. Подписано в печать 01.12.99 г. в 14.00. Тираж 10 000 экз.